ТЕКСТЫ ИДЕОЛОГИЙ / IDEOLOGIES IN TEXTS



Серия «Политология. Религиоведение»
2013. № 2 (11), ч. 2. С. 53–63
Онлайн-доступ к журналу:
http://isu.ru/izvestia

И З В Е С Т И Я
Иркутского государственного университета

УДК 398.23; 398.95; 398.7

Неподцензурный советский фольклор в воспоминаниях заключенных Сиблага (1930–1940-е гг.)*

Н. С. Петрова

Центр типологии и семиотики фольклора Российского государственного гуманитарного университета, г. Москва

В работе показана продуктивность использования в фольклористике такого типа источников, как воспоминания заключенных ГУЛАГа, содержащие важные для изучения неподцензурного советского фольклора сведения и демонстрирующие устойчивость традиционных при появлении обусловленных специфической прагматикой семантических трансформаций.

Ключевые слова: неподцензурный советский фольклор, народные топонимы, гадания, толкование сновидений.

В научном и популярном дискурсах понятия «советский фольклор» или «советская мифология» связаны, как правило, с областью официальной культуры: под ними понимаются явления, инициированные и одобренные властью и использующие модели традиционной культуры для описания современной общественно-политической ситуации и исторических событий (вспомним новины о папанинцах, плачи по Ленину и т. п.). Это, однако, не означает, что в то время полностью отсутствовала спонтанная фольклорная традиция – скорее, она не полностью попадала в фокус исследовательского рассмотрения.

Идеологизированность советской науки проявилась в фольклористике, с одной стороны, в виде теоретических постулатов о сопряжении науки о фольклоре с марксистско-ленинским литературоведением (что во многом объяснялось разгромом отечественной этнографии как «буржуазно-эклектической науки» [11, с. 516]); о возможности планомерного вмешательства ученых в фольклорный процесс, так как фольклор – это орудие классовой борьбы; о включении в сферу научного рассмотрения не только крестьянской, но и рабочей «устной поэзии» [9]. С другой стороны, на практике конъюнктурные соображения вылились в игнорирование (и в плане собирания, и в плане исследования) многих форм фольклорной традиции. Народная

* Статья подготовлена при поддержке Программы стратегического развития РГГУ, проект «Мифологическое сознание и ритуальное поведение в современном мире».

религиозность, магические тексты и практики окружались молчанием как не соответствующие «правильному» образу советского народа. Естественно, тексты любых жанров, отражающие не одобряемое идеологической цензурой отношение к власти, к современным событиям (такие как политические анекдоты, городские песни и пр.), также не получали должной научной фиксации. Показателен в этом отношении учебник Ю. Соколова по русскому фольклору, вышедший в 1938 г.: к советскому фольклору там отнесены только песни, частушки, пословицы, сказки, причеты, поэмы и сказы [21].

Чтобы разграничить инициированные «сверху» фольклорные формы и относительно самостоятельно развивавшиеся традиции[1], будем использовать понятие «неподцензурный советский фольклор и мифология». С одной стороны, это те тексты и практики, которые не подвергались официальной цензуре, так как были связаны со спонтанной низовой традицией; с другой стороны, это тексты и практики ненормативные, расценивавшиеся властью как оппозиционные, хотя зачастую таковыми не являвшиеся. Применительно ко второму значению можно вспомнить критику А. Панченко западных исследователей политического анекдота, сводивших его основной смысл к форме и выражению социального протеста: «В действительности, однако, “ненормативность” вовсе не обязательно подразумевает “оппозиционность”: по всей видимости, тексты, которые мы можем причислить к русскому политическому фольклору, отражают достаточно разнообразные социальные стратегии, тяготеющие и к сопротивлению, и к приспособлению» [18, с. 5].

Обозначенные выше историко-идеологические обстоятельства определяют специфику доступных в настоящее время источников по неподцензурному советскому фольклору: 1) преобладают не традиционные для фольклористики устные сообщения, а письменные документы; 2) источники «нетрадиционны» не только по способу бытования, но и по интенциям их создания: изначально они предназначались не для записи фольклорных и мифологических текстов. К таким источникам относятся информационные сводки ОГПУ-НКВД и партийных органов, формулировки приговоров, личные письма и «письма во власть», дневники и воспоминания.

Среди воспоминаний о советской эпохе выделяется группа текстов, посвященных травматическому опыту репрессированных. Мемуары бывших политических заключенных, пусть и нецеленаправленно, содержат уникальные свидетельства о важной составляющей неподцензурного советского фольклора – тюремно-лагерной традиции. По понятным причинам работы, посвященные текстам и практикам советских заключенных, не могли появиться ранее 1990-х гг. Частично они отражены в тематическом сборнике «Фольклор и культурная среда ГУЛАГа» [22], однако такого системного анализа, какой был проведен в исследовании Е. Ефимовой современной тюрьмы [9], для советского периода не существует.

[1] Естественно, речь не идет о полном размежевании или о том, что эти фольклорные течения никак между собой не взаимодействовали.

Основная часть источников, с которыми пришлось работать, представлена в базе данных общественного центра им. А. Сахарова (http://www.sakharov-center.ru/gulag/): там содержится более 1500 текстов воспоминаний о репрессиях в СССР (1921–1980-е гг.), изданных до 2009 г. на русском языке (не только в России, но и за рубежом) в формате книг, публикаций в сборниках и журналах. Составители базы разделили тексты на следующие категории:

- мемуары репрессированных;
- воспоминания, написанные близкими родственниками репрессированных по непосредственным рассказам, хранящимся в семье письмам, документам и собственным воспоминаниям;
- записи бесед с узниками ГУЛАГа, сделанные профессиональными журналистами.

Тематика собрания влияет на характер описания взаимоотношений общества и власти: рассказы жертв репрессий неизбежно субъективны и эмоциональны (что, в принципе, можно отнести и к другим видам частных источников).

Первоначально в данном корпусе текстов выявлялась вся возможная информация о фольклорных формах, бытовавших в ГУЛАГе[2]. Затем была поставлена задача определить наличие региональных традиций. Для этого из общей подборки текстов[3] отделены записи, относящиеся к одному из региональных отделений ГУЛАГа – Сиблагу. Сибирский исправительно-трудовой лагерь (СибУЛОН-СибЛОН-Сиблаг) в 1929–1961 гг. занимал значительную территорию Западной Сибири: его сеть охватывала современные Томскую, Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, часть Красноярского края и Алтайский край.

Сразу надо признаться, что региональная гипотеза не подтвердилась: материалы Сиблага имеют четкие параллели с теми, что зафиксированными в других местностях. Конечно, существуют тексты, обладающие конкретной локальной привязкой к определенной тюрьме, лагерному пункту и т. п. (например, рассказы о знаменитых заключенных или об особенностях какого-либо лагерного начальника), однако типологически они схожи с такими же рассказами в разных регионах.

Рассмотрим далее те фольклорные формы, о которых говорится в воспоминаниях заключенных Сиблага. Преимущественно описательный характер работы обусловлен необходимостью заполнить источниковые лакуны и

---

[2] Важно отметить, что авторы мемуаров – не представители профессиональной криминальной субкультуры, поэтому в дальнейшем исследовании кажется значимым сопоставительный анализ общелагерного фольклора и специфических традиций социальных подгрупп (в воспоминаниях неоднократно говорится о формировании микросообществ в зависимости от типа статьи Уголовного кодекса, по которой были осуждены заключенные – «блатные», «бытовики», «политические»).

[3] Одна из практических задач исследования – подготовка систематизированного собрания текстов неподцензурного советского фольклора. В настоящее время оно насчитывает порядка 500 текстов различных жанров и типов (описания ритуальных практик, мантических действий, «святые письма», мифологические рассказы и пр.).

представить материал, ранее не особо привлекавший фольклористов, которые позднее, чем историки, открыли для себя письменные источники по неподцензурной советской традиции.

Среди фольклорных жанров, бытование которых отмечено в Сиблаге, можно назвать календарные обряды (обращение к этой теме в мемуарах актуализируется в искусственно созданных зонах межэтнического и религиозного пограничья: авторы отмечают, например, отличия в праздновании Пасхи у православных, католиков и униатов, оказавшихся в одном лагерном бараке (см. подробно об этом: [20, с. 226–230]); анекдоты, неофициальные топонимы, мантические жанры и др.

Если политические анекдоты[4] в воспоминаниях встречаются довольно часто, то тексты с собственно лагерной тематикой, в которых травматическая реальность становится предметом шуток, являются более редкими. Тем интереснее пример из Сиблага: «Я тоже считаю, что здесь, в Сиблаге, жить можно. Не было бы хуже... Правда, существует такой анекдот: ведут двоих на расстрел. Один говорит: “Давай убежим”. А другой отвечает: “Смотри: как бы хуже не было...”» [13, с. 174].

Насильственное помещение в новое географическое и социальное пространство вызывает у людей необходимость его освоения. Сделать это (среди прочего) можно за счет называния элементов окружающей среды. Заключенные активно использовали неофициальные топонимы (употреблявшиеся и лагерной администрацией): «Карцер в лагере (Елбань. – *Н. П.*) называется “Индия”. В нем не было окон, лишь наверху одно отверстие. В карцер главным образом попадали блатные, которые проигрывали свою одежду в карты, а потом из-за этого не могли идти на работу. Им выносился приговор: за утрату казенного имущества такой-то (фамилия) объявляется на семь дней “индийцем”. Это означало совершенно голым сидеть в карцере, а там – холод» [17, с. 33–34].

Приведенный текст демонстрирует двойной процесс называния: по метафорическому принципу (по сходству) обнаженные заключенные назывались «индийцами», по принципу метонимии (по смежности) место, где они находились, обозначалось топонимом «Индия».

Не будучи частью криминальной субкультуры, но постоянно с ней взаимодействуя, политзаключенные усваивали лагерный жаргон. При этом воспринимали они его, скорее, как «иностранный» язык: специфические слова и выражения обычно даются с «переводом», пояснением. Идея «перевода» лежит также в основе ряда речевых форм. Среди словесных игр важное место занимали «расшифровки» аббревиатур или псевдоаббревиатур: «Вещи я оставлял прямо на нарах, и их никто не трогал, потому что с другой стороны, голова в голову, располагались высокооплачиваемые работники – так расшифровывали в шутку слово “вор”» [5, с. 114].

---

[4] Политический анекдот является одним из наиболее изученных жанров неподцензурного советского фольклора. Воспоминания заключенных фигурируют среди прочих письменных и устных источников в недавно вышедшей монографии [3].

Более подробно хотелось бы остановиться на мантических практиках Сиблага.

В мемуарах и письмах из лагерей встречаются упоминания о нескольких видах мантических практик: гаданиях, приметах, толкованиях сновидений. Все это можно обнаружить и в текстах «вольного» происхождения, но, как представляется, именно «тюремное прорицательство» максимально акцентировано на проблеме взаимоотношений индивида и власти. Последняя выступает если не олицетворением судьбы, то, по крайней мере, главным (или даже единственным) исполнителем «приговора рока», так как практически все возможные варианты дальнейшей жизни арестантов (вплоть до внезапной смерти) связаны с действиями администрации того или иного уровня (от самодурства начальника лагеря до объявления амнистии высшим руководством).

Возникает закономерный вопрос о специфичности рассматриваемых явлений – не столько в сравнении с нелагерной ситуацией, сколько в сопоставлении с другими взрослыми закрытыми сообществами (например, армией). Для подробного ответа требуется отдельное исследование. Пока же отметим только, что важной особенностью ГУЛАГа как социальной среды можно назвать перманентное состояние неопределенности: от человека не зависит ни само вхождение в эту группу (речь идет, естественно, о политических заключенных, а не о профессионализированной криминальной субкультуре), ни выход из нее (ср. с армией, где время пребывания в сообществе ограничено либо сроком службы, либо моментом окончания военной кампании, тогда как в лагере момент освобождения не всегда совпадает с указанным в приговоре).

В воспоминаниях о ГУЛАГе неоднократно упоминается проблема отсутствия связей заключенных с внешним миром. Это еще более усугубляло ситуацию неопределенности, необъяснимости происходящего с людьми (во многих мемуарных текстах повторяются мотивы непонимания причин ареста, ожидания внезапного увеличения или уменьшения срока заключения и т. п.). Такое положение вещей приводило к переоценке значения любых источников информации, будь то расспросы вновь прибывших или письма.

Стремление к преодолению этой неопределенности любыми средствами способствовало повышению интереса к гаданиям или интерпретации сновидений даже для тех, кто скептически относился к мантике до ареста: «Я никогда не видела, чтобы люди были такими суеверными, как в тюрьме и в лагере. Очень интеллигентные, образованные люди, сплошь да рядом начинают верить в приметы, в гадание, в сны» [7, с. 126]. «Когда сидишь в тюрьме годами и каждую ночь ждешь расстрела, деформируются и психика, и сознание, и убеждения. Сталинская тюрьма атеистов превращала в верующих, верующих в суеверных, суеверных в мистиков» [1, с. 542]. Как кажется, в лагере прогностическая функция разного рода предугадываний тесно связана с нормализацией ожиданий будущего: «освоенное» через предсказания грядущее более стабильно, чем неопределенное настоящее.

Не стоит забывать и о том, что в условиях постоянного надзора набор безопасных (т. е. не влекущих за собой штрафных санкций) действий и даже тем для разговоров весьма незначителен, поэтому обсуждение, например,

увиденных снов оказывается менее рискованным, чем высказывание мнений о политической ситуации, и переходит в разряд нейтральных речей. Косвенным образом это подтверждается тем фактом, что письма заключенных, содержащие рассказы о приметах или разгадывании сновидений, проходили обязательную цензуру перед тем, как попасть к адресатам.

С другой стороны, гадания входят в ограниченный список тюремных развлечений (в которых видится нечто эскапистское – важно не просто убить время, но снять напряжение, не развлечься, но отвлечься). Так, например, описывается времяпрепровождение заключенных в Лубянской тюрьме: «Человек не может быть в постоянном напряжении. Казалось бы: надо ждать неизвестного каждую минуту. Но мы ждали несколько часов, а потом начали развлекать себя – вышиванием из старых ниток, гаданием на спичках, заплетением кос, разговорами. Будто и не придет сейчас неожиданное» [4, с. 114].

Тюремно-лагерные гадания носят преимущественно окказиональный характер, однако встречаются и описания календарно приуроченных практик: «В канун Крещения, 18 января 1946 г., было задумано устроить гадание. Право входа в больницу (инвалидного лагеря Баим. – *Н. П.*) имел только Сергей Иванович, как секретарь медсанчасти. Участницы гадания – Ксения Васильевна (сестра-хозяйка, жившая в больнице) и я – дежурная сестра. В перевязочной, отделенной от дежурки простынями, уже стоял таз с водой, по краю были прикреплены приготовленные заранее записки. Сергей Иванович находился в перевязочной. В дежурку кто-то вошел. Это был фельдшер нижнего отделения. Обычно он любил поговорить, и я перепугалась, что он задержится надолго. Но фельдшер почему-то не подошел к столу, не сел, а ушел. Я радостно сообщила об этом Ксении Васильевне. “И неудивительно, – сказала она, – посмотрите, что на стуле!” Там лежала хорошо всем знакомая шапка Сергея Ивановича. Я ужаснулась, но никто не помешал гаданью, никто не донес» [16, с. 210–211].

Далеко не всегда по мимолетным замечаниям авторов мемуаров можно понять, о какой именно практике идет речь. В данном примере суть гадания может заключаться в следующем: заранее на отдельных листах бумаги записываются желания либо обозначения грядущих ситуаций («счастье», «дорога», «любовь» и т. п.), они крепятся по краю емкости с водой, затем на воду спускается горящая свеча, закрепленная, например, на щепке. Будущее определяют по тому, какая именно записка окажется подожженной.

В отличие от гаданий, предполагающих особую процедуру получения знака, который будет подвергаться интерпретации, приметы основаны на обращении непосредственно к данным окружающей действительности (сюда относятся природные явления, поведение животных, действия людей и т. п.). Считается, что «как правило, к приметам относятся те толкования, которые базируются на коллективном опыте и фиксируются в коллективной памяти» [2, с. 279]. Однако возможно и индивидуальное установление связи между получаемым знаком и его объяснением (по принципу «Если X, то Y», где X и Y выбираются в каждом конкретном случае и без каких-либо ограничений).

С. Ю. Неклюдов в устной беседе предложил называть такие практики идиоприметами (по аналогии с идиолектами).

В лагерных текстах встречаются и традиционные приметы, и идиоприметы.

Для обозначения примет индивидуальных в качестве термина, употребляемого внутри лагерной традиции, используется понятие «загадывание». Здесь наблюдается терминологическая омонимия, потому что о загадывании говорится и в тех случаях, когда имеется в виду ситуация, считающаяся благоприятной для формулирования личного пожелания («когда Z, нужно загадать желание», где Z, например, время падения звезды): «Никто не знал, сколько времени продержит нас здесь судьба, до того вечера, когда я сидела у нашего соседа – литовца Ашканиса с его двумя сыновьями. […] Вдруг промелькнула падающая звезда! Она вылетела откуда-то сзади и упала прямо перед нами. Я закричала: “Namo, namo, namo!” (по-литовски – “домой”. – *Н. П.*). Когда падает звезда, надо загадать какое-нибудь желание. “С ума сошла баба, – подумал, наверное, Ашканис. – Что это она все время кричит: “Namo! Домой!” А я подумала: мы поедем домой, то ли в этом году, то ли в будущем. Скоро нас отпустят. Прошло немного времени, и стало известно: Сталин заболел, а потом – Сталин умер. […] Однако прошло еще немало времени, прежде чем мы получили паспорта. Мой паспорт пропал, тем не менее, в 1956 г. мы собрались в дорогу» [8, с. 87–88].

Нарратив о сбывшейся примете устроен следующим образом:

a. *Непреднамеренное столкновение человека с неким объектом/явлением действительности* → **b.** *Узнавание в этом объекте/явлении знака* (т. е. переключение с практически-утилитарного восприятия на семиотическое) и последующая дешифровка символического послания → **c.** *Констатация правильного/неверного прочтения*

Такая примета представляет собой некое фоновое знание, которое актуализируется в момент появления знака, входящего в условный «словарь толкований».

Другое дело – идиоприметы. Механизм их функционирования и структура текстов о них будут отличаться от приведенного выше примера:

a. *Преднамеренное ожидание знака, заранее зашифрованного* → **b.** *Появление/отсутствие знака* → ***c.*** *Исполнение/неисполнение загаданного*

Если приметы, основанные на коллективном знании, актуализируют некие устойчивые представления о смысле того или иного знака в момент случайного столкновения с ним (или уже после, в процессе осмысления свершившегося факта и поиска ранее пропущенных сигналов о его приближении), то в случае индивидуального загадывания наделение выбранного объекта знаковыми свойствами, его расшифровка предшествует восприятию его в рационально-практическом смысле:

«Хозяин прибил скворешник (sic! – *Н. П.*) на самой верхушке дерева. Я загадала: поселятся или нет, связав это с встречей с Никой. И вдруг испугалась того, что загадала» [12, с. 31].

Важная отличительная особенность идиопримет – «прочитать» их могут только те, кто определил правила интерпретации знака. Обычные же приметы

доступны и непосредственному «адресату» сообщения, и любому носителю традиции. Распространенность идиопримет в тюремно-лагерной среде, как кажется, может быть обусловлена их большей – по сравнению с обычными приметами – пластичностью и встраиваемостью в конкретную, актуальную для «загадывающего» ситуацию (не всегда ГУЛАГовские реалии находят точное соответствие в традиционной системе знаков и смыслов).

Еще одна мантическая форма, популярная в ГУЛАГе – онейромантика, или толкование сновидений[5]. В рассматриваемых источниках неоднократно фиксируются утренние коллективные обсуждения приснившихся ночью снов, включающие пересказы увиденного и попытки их толкования. Стереотипность этих действий подчеркивается даже на лексическом уровне («каждое утро», «по утрам было принято», «постоянная тема утренних разговоров»).

В воспоминаниях заключенных тексты о снах и их толкованиях встречаются как в форме кратких словарей-сонников, так и в виде подробных нарративов о сбывшихся сновидениях. Последние структурно воспроизводят традиционную модель снотолкования:

Традиционная схема рассказа о вещем сне [14, с. 29–30]	**Рассказ о сбывшемся сне из воспоминаний А. М. Лариной** [13, с. 44–45]
а) обрисовка жизненной ситуации, предшествовавшей сну; **б)** описание бытовых обстоятельств засыпания; **в)** пересказ самого сновидения, часто сопровождаемый указанием на психологическое состояние во время сна и сразу после; **г)** если сон изначально воспринимается как символический – предположения сновидца о его значении или толкование его третьим лицом; **д)** исполнение предвестия; **е)** если сон изначально не понимался как вещий – воспоминание о реакции удивления тому, что он таковым оказался; **ж)** констатация свойства снов «сбываться».	**а)** Уже в лагере (сельскохозяйственный лагерь Антибес. – *Н. П.*) мне приснился ужасающий сон, **в)** будто удав обвил мою шею и душит меня, а в его пасти – голова моего маленького сына, которого удав вот-вот проглотит. Я проснулась оттого, что С. Л. Якир толкала меня в бок, и, вероятно, от собственного крика. – Проснись, что с тобой? – услышала я голос Саечки. **г)** Я рассказала ей свой сон. – Вот ужас-то, ведь и явь, как страшный сон, а тебе еще такие кошмары снятся. Опять что-нибудь случится! Хотя что еще может приключиться, кажется, все уже случилось, – сказала Саечка. Утром об этом кошмарном сне я успела рассказать и Виктории. **д)** Ну а днем пришел надзиратель и забрал меня и С. Л. Якир в карцер, там нам учинили обыск. На этот раз надзиратель решил отобрать фотографию моего ребенка, во время предыдущего обыска не отобранную. – Кто это? – спросил он с такой злобой, будто обнаружил еще одного «заговорщика». С фотографии светились глазки моего одиннадцатимесячного малыша. Я его фотографировала после ареста Бухарина в надежде передать Николаю Ивановичу в тюрьму эту фотографию. – Мой ребенок, – ответила я, чуя недоброе. – Ах ты, сука, – заорал надзиратель, – еще щенка бухаринского с собой таскаешь! На моих глазах он разорвал единственную оставшуюся

[5] Подробнее об этом см.: [17].

	мне радость в этой жизни – фотографию сына, плюнул на нее и затоптал грязными сапогами. […] После обыска в карцере нас оставили лишь на сутки и отправили в барак. **ж)** Вот тебе и удав, вот тебе и сон в руку! Около часа, не больше, мы еще пробыли вместе с Саррой Лазаревной, и вновь явился надзиратель. – Бухарина, собирайся с вещами! – Куда? – спросила я. – Куда, куда... там узнаешь – куда! Весть о том, что меня забирают, мгновенно разнеслась по лагерю.

В целом можно говорить о том, что к лагерным гаданиям, толкованиям снов применима семиотическая система традиционной культуры, но при этом ее видоизменения происходят на содержательном уровне. Среди преобладающих тем, затрагиваемых в ходе мантических практик, – арест, освобождение, изменения тюремно-лагерной повседневной жизни (например, перевод в другое место), смерть. В тюрьме и лагере практически нет гаданий о любви или браке, урожае или хозяйственном благополучии, свойственных «вольной» мантике.

Устойчивые обобщенные категории (*начальник*, *казенный дом, дорога*) конкретизируются с учетом лагерных реалий (*прокурор*, *тюрьма, этап*). Арест и освобождение составляют тюремный вариант устойчивой оппозиции худа и добра, печали и радости, горя и счастья. Особенно ярко это иллюстрируют рассказы о переключении интерпретационных кодов. Как правило, в них говорится о неверном объяснении того или иного знака в терминах «вольной жизни» и осознании этой ошибки уже после ареста: «Все началось с туза пик. Он упал острием вниз, будто укол в сердце.

– Удар!

Потом пошли “казенный дом”, “казенные разговоры”, “дальняя дорога”. Ни мать, ни я всерьез не верили в гадания, которыми она чередовала раскладку пасьянсов в досужее время. Но какой-то тревожный осадок остался.

– В армию тебя возьмут, – заключила мать.

Если бы действительно.

Постучались ночью, часа в два. […] Офицер сунул мне маленькую желтоватую бумажку. Я прочел: “Ордер на обыск и арест”» [6, с. 247–248].

В завершение такой презентации источников важно подчеркнуть, что воспоминания заключенных содержат важные сведения не только о тюремно-лагерном, но и о неподцензурном фольклоре в более широком смысле (во многих случаях лагерный опыт становится поводом для рассказа о биографии в целом). Данные материалы дают возможность дальнейших исследований по разнообразным направлениям: будь то гендерный подход или дискурс-анализ травматических нарративов, изучение устной истории или субкультурных традиций.

1. *Авторханов А. Г.* Мемуары / А. Авторханов. – Frankfurt/Main : Посев, Cop. 1983. – 761 с.

2. *Агапкина Т. А.* Примета / Т. А. Агапкина, О. В. Белова // Славянские древности : этнолингвист. слов. : в 5 т. – М., 2009. – Т. 4. – С. 279–280.

3. *Архипова А. С.* Анекдоты о Сталине : тексты, комментарии, исследования / А. Архипова, М. Мельниченко. – М. : ОГИ , 2011. – 398 с.

4. *Гаген-Торн Н. И.* Memoria / Н. И. Гаген-Торн. – М. : Моск. ист.-лит. о-во «Возвращение», 1994. – 412 с.

5. *Горчаков Г. Н.* Л- I -105 : Воспоминания / Г. Н. Горчаков. – Иерусалим : Иерусалим. издат. центр, 1995. – 317 с.

6. *Горшков В. В.* Мне подарили мою жизнь // Поживши в ГУЛАГе : сб. воспоминаний / сост. А. И. Солженицын. – М., 2001. – С. 245–358.

7. *Иоффе Н. А.* Время назад: Моя жизнь, моя судьба, моя эпоха / Н. А. Иоффе. – М. : ТОО «Биологические науки», 1992. – 238 с.

8. *Лахауэр У.* Райская улица: Воспоминания Лены Григоляйт, крестьянки из Восточной Пруссии / У. Лахауэр ; пер. с нем. С. Шлапоберской ; предисл. А. Архангельского. – М. : Дружба народов, 2003. – 159 с.

9. Дискуссия о значении фольклора и фольклористики в реконструктивный период // Литература и марксизм. – 1931. – № 5. – С. 91–114; № 6. – С. 105–123.

10.*Ефимова Е. С.* Современная тюрьма: Быт, традиции и фольклор / Е. С. Ефимова ; отв. ред. А. С. Архипова. – М. : ОГИ, 2004. – 398 с.

11.*Иванова Т. Г.* История русской фольклористики XX века: 1900 – первая половина 1941 гг. / Т. Г. Иванова. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2009. – 800 с.

12.*Ишутина Е.* Нарым: Дневник ссыльной / Е. Ишутина ; предисл. Р. Гуля. – Нью-Йорк : Новый журнал, 1965. – 111 с.

13.*Клейн А.* Клейменые, или Один среди одиноких: Записки каторжника / Александр Клейн. – Сыктывкар : АО «Коми респ. тип.», 1995. – 199 с.

14. *Ларина А. М.* Незабываемое : [О Н. И. Бухарине] / Анна Ларина (Бухарина). – М. : Изд-во АПН, 1989. – 365 с.

15.*Лурье М. Л.* Вещие сны и их толкование (На материале современной русской крестьянской традиции) // Сны и видения в народной культуре. – М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2000. – С. 26–44.

16. *Милютина Т. П.* Люди моей жизни / Т. П. Милютина ; предисл. С. Г. Исакова. – Тарту : Крипта, 1997. – 415 с.

17. *Морозова Н. А.* Мое пристрастие к Диккенсу: Семейн. хроника, XX в. / Н. Морозова. – М. : Моск. рабочий, 1990. – 255 с.

18. *Панченко А. А.* Политический фольклор как предмет антропологических исследований [Электронный ресурс] // Антропологический форум. – 2012. – № 12. – URL: http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/012online/12_online_panchenko.pdf (дата обращения 25.04.2013)

19. *Петрова Н. С.* «Живой Мартын Задека в действии» : Толкования сновидений в ГУЛАГе // Фольклористика и культурная антропология сегодня : тез. и материалы Междунар. школы-конференции. – М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2012. – С. 314–324.

20. *Польская Е. Б.* Это мы, Господи, пред Тобою… / Е. Польская. – Невинномысск, 1998. – 504 с.

21. *Соколов Ю. М.* Русский фольклор : учебник / Ю. М. Соколов. – М. : Учпедгиз, 1938. – 559 с.

22. Фольклор и культурная среда ГУЛАГа / сост.: В. С. Бахтин, Б. Н. Путилов ; Фонд «За развитие и выживание человечества». – СПб. : Фонд «За развитие и выживание человечества», 1994. – 211 с.

Uncensored Soviet Folklore in the Memories of the Prisoners of Siblag (1930–1940s)

N. S. Petrova

Centre for Typological and Semiotic Folklore Studies, Russian State University for the Humanities, Moscow

The article describes the efficiency of using in folklore studies such type of sources as memories of the Gulag prisoners that contain information important to the uncensored Soviet folklore studies and demonstrate the stability of traditional structures and the appearance of semantic transformations.

Key words: Uncensored Soviet folklore, traditional place names, fortune telling, interpretation of dreams.

Петрова Наталья Сергеевна *– аспирант, методист, Учебно-научный центр типологии и семиотики фольклора Российского государственного гуманитарного университета, 125993, ГСП-3, г. Москва, Миусская площадь, д. 6, корпус 7, к. 168, тел. 8(499)9734354, e-mail: pena.talya@gmail.com*

Petrova Natalya Sergeevna *– Postgraduate student, methodologist, Educational and Scientific Centre for Typological and Semiotic Folklore Studies of the Russian State University for the Humanities, 125993, GSP-3, Moscow, Miusskaya Square 6, building 7, office 168,phone 8(499)9734354, e-mail: pena.talya@gmail.com*